

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

Марі-Анрель



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1942



МАРТ-АПРЕЛЬ

Рассказ

Изодраный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на похудевшем капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул на парашюте в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в забухших водой валенках было очень тяжело. Первое время он шел только ночью. Днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радииста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

«Выполнил задание!» Как это просто сейчас скажет. Сколько килограммов живого веса потерял он за этот рейд, а в теле его никогда не было лишней единицы жира.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке из-под тола и потом есть, как горькую капшу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышая в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к достойному и мужественному спутнику.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на

шоссе. Кстати, тогда удается переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше плохое положение. И, как говорится, «опашь брюха заглушает в вас голос рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, сока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то трепись, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, шушевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитана в отряде считали человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержаненный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находилласковых, ободряющих слов, а, наоборот, старался очень ловко затупить их опасностями; тогда красноречие просыпалось в нем.

Перед самым вылетом он иногда высыпал из самолета человека.

— Трус, — кричал он, — мне таких не надо! — и захлопывал дверцы люка.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у еха, — и постепенно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке, к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространялся «злух», оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья

шоссе. Кстати, тогда удастся переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше плохое положение. И, как говорится, «ваш брюха заглушает в вас голос рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то трепись, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаившей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищев. Капитана в отряде считали человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, спрятанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов, а, наоборот, старался очень ловко запугать их опасностью; тогда красноречие просыпалось в нем.

Перед вылетом он иногда высаживал из самолета человека.

— Трус, — кричал он, — мне таких не надо! — и захлопывал дверцы люка.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у еха, — и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке, к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывавший его поведение. Будто в первые дни войны его сестра

была уничтожена немцами. Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сопишил:

— Жена пишет.

Все переглянулись, мнение — разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья никакого не было.

А потом капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него так же, как на иных действует звук лезвия ножа по стеклу.

Голый и мокрый лес. Тонкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одиночному, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем заброшеннее и забытее глядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо выдел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в щерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к хрохотному водопаду, стекающему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, пить только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тонкие тени ложились на тонкий и мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрюстал под ногами. Мокрые ветви обмерзали; когда он отводил их рукой, они звенели. И, как ни пытался капитан идти беспомощно, каждый шаг сопровождался хрюством и скриком.

Вспыхла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели

холодным огнем, как шашлыки на колоннах станции метро «Дворец Советов».

Где-то в этом квадрате должен был находиться радиостанция. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радиостанция выкопала себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и брать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?»

Капитан шел в чащебе, озаренный ярким светом, валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиостанцию, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если радиостанция удалось обнаружить сразу.

Затнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом поднялся, уширяясь руками в снег, за спиной его металлический щелкнул оттаявший ствол пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шагая, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно сразу хидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку — тогда выстрел будет глухой, тихий. А, кроме того, немец кричит «хальт» промко, чтобы услышал сосед и, в случае чего, пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся. Пароль промзнес он одними губами; когда получил отзыв, кивнул головой и, спустив предохранитель, сунул в карман синий «Зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиостанцию.

— Ты, что же, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И неторпеливо потребовал: — Давай, показывай, где тут твое помещение!

— Вы за мной, — сказал радиостанция, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу

— Зачем ползти, в лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радиостаршина.— болит очень.

Капитан хмыкнул и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Еще не задумываясь, он спросил:

— Ты, что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, ю гла прыгали. У меня валенок и слетел, еще в воздухе.

— Хорош.— И добавил: — Выбирайся теперь с тобою отсюда.

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провизия, и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Запеленговали немцы радио, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя, лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно.— Ну, ладно, ничего, как-нибудь разберемся.— Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по локти в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайловой у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорила.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза, неприятная не потому, что видеть такие глаза противно; напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших

зрачков, они были очень хороши. Но плохо в них то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их на воротник шинели!

Сколько раз говорил ей капитан:

— Подберите ваши космы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно: оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни, — и неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственоручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую... — и капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радиосток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые, остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель, — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, расположила по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный подвыходной день в солидном наркоматском подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копошилось в небе своими негнувшимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной с поджатыми ногами и книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленном на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, узкие и белые, все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тыльсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной, чтобы не скользила рука.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Опять раздражающее негодование появлялось в нем. Этот сильный человек, с красным сухим лицом спортсмена, правда, немногого усталым и грустным, был жестоким и требовательным и к себе самому.

Немецкие саперы заминировали проселочные дороги, впадавшие в магистраль. Он застрелил ночью револьверщика из малокалиберного пистолета, бьющего почти беспардонно, и, вооружившись фонарем регулировщика, стал на проселок.

Он пропускал мимо себя машины, сигналя зеленым и красным светом. Когда появилась танковая колonna, он красным отнем преградил ей путь по магистрали и открыл зеленым штурм на проселочную, заминированную дорогу.

Обнаружив штабной кабель, он перерезал его и стал ждать. Связист пришел не один. Его сопровождали солдаты с автоматами. Устранив повреждение, связист ушел. Тогда капитан содрал изоляцию с кабеля и положил его на землю. Расчет оказался верным. Обнаружив плохую слышимость, связист вернулся один. Капитан заколол связиста. Смотав кабель, он бросил его в конину сена и поджег.

Забравшись на перекрытие немецкого блиндажа, он открыл подсумок и стал горстямисыпать в дымоходную трубу блиндажа патроны. Выскочивших из укрытия немцев он перестрелял из автомата.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка. Их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан стыдился своего горя. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищев. Он сказал себе: жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно. И он не был мелким человеком. Он презирал смерть. Всю свою жизненную силу он соорудоточил на чувство мести. Таких людей, с обагренным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили твое сердце! И вот сейчас, шагая за ползущей радиостройкой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумывать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тонкие, как шнагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в остекленную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик радиции, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, поклонив рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

- Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.
- Вы не доктор. И потом..
- Знаете,— сказал капитан,— договоримся с самого начала — меньше разговаривайте.
- Ой, больно!
- Не пищите,— сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую и обтянутую глянцевитой синей кожей.
- Да я же не могу больше терпеть.
- Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.
- Мне не нужно вашего шарфа.
- Вонючий носок лучше?
- Он не вонючий, он чистый.
- Знаете,— снова повторил капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?
- Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объяснил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастерил там, орудуя ножом с ручкой, обтянутой резиной. Вернулся, взял рацию и сказал:

- Можно ехать.
- Вы хотите тащить меня на лыжах?
- Я этого, положим, не хочу, но приходится.
- Ну что же, у меня другого выхода нет.
- Вот это правильно, — согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
- Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.
- Маловато.
- Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...
- Понятно,— сказал капитан,— другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
- Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь,— и капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рюкзаков.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что, казалось, застrevало в глотке.

«Если я ей скажу, что ни к чорту не гожусь, она запаникует. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

— У вас есть водка?

— Ладно,— сказал капитан,— сидите. Водки я вам все равно не дам.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя запыхтело, облизав ветви. Поставив на костер банку из-под тола, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернулся в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпились, — сказал капитан.— А пока — не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить палкой старого грача.

— Вы будете есть воронью? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.
Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушки.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо, — и съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немногого, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собою лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала из земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выпреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподнявшись.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется и вообще...

— Вы спать хотите, ну, и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе месяце капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, обожгла пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели. Перед отправкой в тыл раненых осматривала комиссия. Капитана вместе с группой симулянтов приговорили к расстрелу. Казнь была отменена в последний момент. Их посадили на транспортные самолеты и отправили под Елью. Здесь их погнали на русских в «психическую» атаку, выставив сзади роту автоматчиков. Капитан был ранен своими же. Его подобрали, и он пролежал еще две недели в нашем госпитале.

Чтобы прекратить разговор, он спросил грубо и настойчиво:

— Нога все болит?

— Я же сказала, что могу ити сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан впряженся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащив нож.

— Знаете, — сказала девушка приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.

Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы, — сказал капитан, — жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там. А вы оставайтесь.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уж как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей, — сказал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смущался.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет на коленях. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь, — попросил капитан томом, каким говорил курсантам, встававшим при его появлении. Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего, — сказал капитан, — ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— Точно, — согласился капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша радиация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цыгарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Приемник я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите какую-нибудь жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только радиацию вы не получите.

— Ну, ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за радиацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но радиацию отобрать вы у меня не имеете права.

— Да поймите же вы,—вспылил капитан.
— Я понимаю,—спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной.— И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала:— Вот вы горячитесь и лезете не в свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, грубое, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте, действуйте,— и, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал:— Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свидания, капитан!

— Валите, валите,— буркнул тот и пошел к реке.

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

И вот, если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение; свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте герояни; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала юту о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала.

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

— Папа,— звонко сказала она,— папа, ну, ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец,— ну, что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она,— папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний блесковалась, как в школе на зачетах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только количество знаков передачи, но и ее грамотность. Но капитан был прав. Оставшись одна в лесу, в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивлялась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла своих глаз. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях тер-

мометр, так как ее дочь не любила жальство его подмышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шопотом расстроенно говорила: «Она больна». А отец укутывал звонок телефона в бумажку, чтобы его звук не тревожил дочь. А вот, если немцы успеют быстро застеленговать станцию, Михайлова убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. А ведь на ней меховой комбинезон. Немцы, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть солдаты отвратительными глазами.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как зог эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили: «Ты чего так расфуфырилась?»

— Подумаешь, — сказала она, — почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, беспухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну, и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну, и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в ов-

рагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку. Не было сил отползти на сухое место.

И снова ползла — с упорством раненого, который ползет к пункту медпомощи, чтобы там остановили кровь, дали пить, где он найдет блаженный покой и другие будут заботиться о нем.

Блаженный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузамкнув глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов радиции не было.

Пилоты, сидя на своих сиденьях, и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры бурали черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутину звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной как песня сберечка, как звон сухого колоса на степном ветру, как пурпур сухого осеннего листа, этот звук стал по-водырем огромных стальных кораблей.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будутброшены туда, куда указывает этот родной, призывающий клич радиции. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде и, наклонившись к радиции, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль была в спине, в висках, тискала голову горячим обручем. Михайлова знобило. Когда она подносила руку к губам, они были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это неважно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и истуганно вслушивалась. В наущ-

никах звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него рука будет сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке и, может, мне дали бы полуслубок... там горит печь... и все было бы иначе. А теперь уже больше никогда ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Всегда я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно — потому и не так страшно... Скорее бы только. Ну, что они, в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь, ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие. Наконец-то вы за меня прилетели. Мне так плохо здесь.— И вдруг испугалась.— Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться. Гудение кораблей все приближалось.

Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно яе сигналы, а крик «Бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, акнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Взмывающие бомбы, казалось, летели прямо к ней, в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив

глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуно-
вением разрыва в яму бросило колья, опутанные
комочкой прозолкой. В промежутках между разры-
вами бомб на аэродроме что-то гулко лопалось и тре-
щало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Конечно, — с тоской подумала она. — Теперь я спо-
ва одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги... Она их не
чувствовала совсем. Что случилось? Потом она
вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она конту-
жена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глыбу,
немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба ушла
сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы
самого страшного.

— Нет, — вдруг сказала она. — С другими было жуже,
и все-таки уходили. Ничего плохого не должно слу-
читься со мной. Я не хочу этого.

Где-то ворчал автомобильный мотор и белые, ко-
лодные лучи несколько раз скользнули по черному
кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый,
чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

— Ишут. А лежать так хорошо. Неужели и этого
больше не будет?

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге
горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула,
попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы держали застежку ее
ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михай-
лова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова за-
крыла глаза. Итти она не могла. Капитан ухватил
ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх.
Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как скрепили полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на санях,
держа один конец ремня в субах, перетягивал свою

голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну, как?

— Никак, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше нигде не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с лыж на землю. Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постремли, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постремли и, пятаясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Как это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с закрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она вонзела, как капитан сполз на землю, голову в грудь и голову на сани и, держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его покерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою,

подвешенной к груди и зажатой между двумя прязненными обломками доски и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла свою руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сказал капитан. — И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбёжки, и вас могли пристрелять. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А, во-вторых, вас запеленговал броневицок с радиостанцией. Он там всю местность прочесал, пока я гранату не сунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень подходящая девушка, — и тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и разделено сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побагровели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Калытан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— Ну уж если так, тогда другое дело.

Когда калытан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто неззначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице калытана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Подходящая девушки, ничего не скажешь,— и, одернув гимнастерку, вошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

Тираж 1.000.000. Издательство «ПРАВДА». Цена 15 коп.

A61676. Подписано в печати 18/X—42 г. Заказ 2708.

Типогр. газ. «Правда» имени Сталлина. Москва, ул. «Правды», 24.